

«Я — из «бывших»

Рассказывает секретарша А. Ф. Керенского

Зинаида Манакина

Стало уже хорошим тоном проводить параллели между начинаниями новой власти и приметами российской дореволюционной жизни. Возродили Дворянское собрание, Купеческий союз, биржи и банки на каждом углу... Вроде бы и звучит современное многоголосие в унисон прежнему, а все-таки нет-нет да и кольнет сердце от сознания того, что старая жизнь и ТА Россия, словно далекая Атлантида, навсегда погрузилась в глубь времени. И недалек тот день, когда не у кого будет спросить: «А как, собственно, жили раньше?»



Зинаида Константиновна Манакина на два года старше века. Смолянка, петербуржка, лагерница. В ее маленькой московской коммуналке со старинных портретов смотрят чудные, прекрасные лица. Вглядываясь в них, ты словно окликаешь минувшее... Свою судьбу эта старая женщина исключительной не считает, говоря: «Просто я давно живу — так давно, что пережила почти всех, кого помню». Именно поэтому ее бесхитростный рассказ не мог оставить меня равнодушной, и мне хочется привести его дословно.

Татьяна Гаген



Мне уже девяносто четыре года. Вы спросите: «Как жили раньше?» А вот как. У служивых людей больших денег никогда не было. Пальто носили пятнадцать лет: от старшей сестры передавали средней, от средней — младшей. Апельсины ели на Пасху и на Новый год. И считалось: главное — это честь.

Мой отец был артиллерийским офицером. Его бригада стояла в основном на приграничных имперских землях: в Финляндии, Польше — и каждые шесть-семь лет перекочевывала из одного края в другой. Переходы были долгими. Мы даже не могли возить с собой стульев: перевозка их стоила дороже, чем сама мебель! Шесть или семь раз наша семья перебиралась вместе с бригадой. И все же каждая офицерская жена умудрялась закончить двухгодичные высшие педагогические женские курсы — ведь детей в семье было, как правило, много. У каждого в доме имелись книги классиков русской и зарубежной литературы в дешевых переплетах — эти книги давали в виде приложения к журналу «Нива». К десяти годам я была уже хорошо начитана.

Я закончила Смольный с наградой — это было летом 1917 года. К тому времени я была круглая сирота. Мой отец умер от инсульта. Он был начальником эвакуационного пункта города Вильно. Его бригада стояла в Польше. Шла война. Наступавшие немцы отбили денежный ящик, и отец этим сообщением был сражен. А находилось в этом ящике самое большое — рублей триста. Впрочем, сумма для папы значения не имела: для такого офицера, каким он был, трагедия заключалась в самом факте захвата. Мама ненадолго пережила его, и мы, дети, попали под опеку дворянского совета.

И вот, узнав, что я окончила с наградой Смольный, опекунский совет предложил мне работу в Мариинском дворце. Я пришла на собеседование. Оно продолжалось недолго, и

Обвинение веку можно было вынести от ее имени, ее устами. Согласитесь, ведь это не безделица. Это некоторое предназначение, отмеченность. Этим надо было обладать от природы, надо иметь на это право.

Борис Пастернак

по окончании меня тут же поздравил опекун: «Вы приняты на службу». — «Почему?» — удивилась я столь скорому решению. «Начальник отделения встал, когда вы вошли, потому что вы для него были просто барышней. А прощаясь, остался сидеть, потому что вы для него стали служащей», — объяснил опекун. Так я попала в пресс-службу Временного правительства. Служба располагалась в Зимнем дворце, в Арабском зале. Мне объяснили: тексты указов и постановлений с пишущих машинок будут поступать ко мне. Я отвечала за орфографию и пунктуацию. Кроме того, давала ту или иную информацию в прессу.

Таким образом, два с половиной месяца я находилась рядом с Временным правительством, каждый день видела Керенского и его министров. Какими они мне запомнились? Только что сдал управление делами милый Владимир Дмитриевич Набоков. Барин холерный, очень красивый и в обращении чрезвычайно приятный. Вот какой вспомнился мне эпизод. Это уже, правда, случилось после октябрьского погрома. Шел юбилей хора Мариинского театра. Давали оперу «Руслан и Людмила». В театре же было так заведено, что всегда мужчины в антрактах становились лицом к царской ложе. И вот помню, как стоит, облокотившись на барьер, Владимир Дмитриевич. А мне тихонько говорят: «Он только сегодня утром вышел из заключения. Большевики его подержали в тюрьме и выпустили». А вечером он был уже в театре: свежесбривший, надушенный... Вот каким я его запомнила.

Очень хорошо помню полковника Готовского. Он был известным наездником, инструктором верховой езды в офицерской кавалерийской школе. Случилось так, что на манежной езде учеником школы царевичем сербским было сказано что-то дерзкое про русских (по-французски). Что именно — вслух даже не повторялось. Это было неприлично — повторить дерзость. Позднее мне, правда, по секрету сказали, что именно он сказал: дескать, все русские — свиньи. Готовский на скаку дал царевичу два раза стеком по лицу, и был тотчас же за нанесение оскорбления его высочеству разжалован в рядовые. Но господин наследник не имел права вызвать Готовского на дуэль, поскольку наследовал трон. Таким образом, он перенес пощечину и не заплатил за нанесенное оскорбление кровью, а посему общество офицеров попросило царевича покинуть их ряды. Вот так он и уехал в свою Сербию с набитым лицом. А Готовского я потом много раз видела в Зимнем в простой шинели, но с двумя солдатскими Георгиями, которые ценились выше офицерских и давались только за личную храбрость. Вот что значила честь в мое время. Керенского я видела каждый день. Он ходил всегда очень быстро и почти всегда был сумрачен. На нас, машинисток, внимания не обращал. А выступал он блестяще, вначале с маленькими паузами, а потом что-то происходило с ним — и речь лилась! На него словно накатывало: Александр Федорович обладал грандиозным ораторским даром. Кстати, я ведь и Ленина слышала и могу сравнить. Помню, как он с балкона дворца Кшесинской кричал: «Работать на победу германского пролетариата!» Но для меня, дочери военного, эти слова звучали кощунственно: шла война с немцами, на фронте гибли наши солдаты и офицеры. О какой помощи германскому народу могла идти речь?!

Да, так вот о Временном правительстве. Часто спрашива-

ют, какие у них были привилегии.

В три часа подавался крепкий чай со сливками. Никаких других привилегий не было. Барышень-машинисток юнкера развозили по домам, потому что работа наша заканчивалась в десять-одиннадцать часов вечера. Никогда у Зимнего никаких персональных извозчиков не стояло...

А потом произошел переворот. И когда занят был Зимний дворец, они — министры — сидели до часу ночи в пальто, ожидая, кому сдать власть. Ведь это было Временное правительство. В тот день нас не было в Зимнем. Служащих предупредили: три дня на работу не ходите, барышни, в городе неспокойно. Мой знакомый юноша фельдьегер Иван Иванович Киселев был в тот вечер начальником караула, как раз в том секторе Зимнего дворца, который занимало Временное правительство. Он мне звонит: «Вы знаете, я сегодня начальник караула, а тут всюду стоят не мои караульные... Через мостик Зимней канавки народ идет во дворец запросто. И еще со двора идут посторонние». Через некоторое время опять звонок: «Зинаида Константиновна, они уже режут провода, до сви...» И связь оборвалась.

Керенский из дворца уехал еще утром, до восстания: надеялся встретить какую-то вооруженную часть, кажется, генерала Краснова. Не получилось. Он сидел со своими адъютантами в пустом Гатчинском дворце. Один из его адъютантов и рассказал мне позже «о бегстве Керенского». Командант дворца говорит Александру Федоровичу: «Могу вам показать путь через подземный ход». Керенский ему в ответ: «Я не воспользуюсь, потому что не знаю, куда он выведет». А уже слышен шум, топот: приближаются красные матросы Дыбенко. И Керенский вдруг обращается к своим адъютантам: «Бобики (он их очень любил и так ласково называл), я ни за что не хочу быть арестован-

ным большевиками. Я решил застрелиться, но у меня трясется большая рука (а правая рука у него и правда болела, он и бумаги левой всегда подписывал). Представляете, как некрасиво получится, если я себе глаз вышибу или ухо пораню? Опозориться я не хочу. Окажите мне услугу... Застрелите меня, бросьте жребий». Так они и поступили, и гардемарин Кованько вытащил этот несчастный жребий. Позже он вспоминал ту минуту: «Керенский обнял меня, прощаясь, а я весь дрожу: ведь я — палач!» А надо сказать, что этот Кованько был очень артистичным малым: и состричь мог, и скаламбуричь к месту. Тут он и говорит Керенскому: «Что же это мы в самом деле раскисли?!» Схватил шоферскую меховую куртку (тогда ведь были открытые машины), напялил синие очки на Александра Федоровича, фуражку, открыл дверь настежь навстречу приближающейся толпе матросов: «Водитель, давай, поторапливайся!» И с этими словами вытолкнул Керенского в самую гущу толпы. А в ней уже кричат: «Где Керенский?» Кованько им в ответ: «Да там, у себя. В кабинете заперся...» Они прошли сквозь толпу невредимыми и таким образом спаслись. Позже Керенский в своих мемуарах писал: «Через день я был у Краснова, сидел перед ним нелепо костюмированный». Разумеется, нелепо: бывший премьер — в шоферской куртке и фуражке. Но и не более того, не в женском платье!

Я воспоминаниям Керенского доверяю. У меня такое создалось впечатление: все, что он делал, — это были поступки порядочного человека. Когда была страшная ночь арестов царских сановников в феврале 1917 года, Родзянко и Керенский двое суток подряд до хрипоты защищали арестованных. После ночного обыска в Марининский дворец приводили полуодетых испуганных стариков, и Керенский, стоя на ступеньках дворца, кричал: «Не прикасаться к этому человеку! Он находится под защи-

той закона». Он сорвал голос в ту ночь. Но никого из «бывших» не растерзали.

Когда большевики взяли власть, многие сановники оказались в тюрьме. Многих, правда, как Набокова, вскоре выпустили. Курьезных случаев тогда рассказывали в Петрограде много. Так, на тюремной прогулке встретились два министра: Михаил Иванович Терещенко, миллионер, сахарозаводчик, он же министр финансов, пожертвовавший в свое время на революцию полтора миллиона, и Иван Григорьевич Щегловитов, министр юстиции. Щегловитов говорит Терещенко: «Сказывают, вы для того, чтобы сюда попасть, полтора миллиона большевикам заплатили? Намекнули бы о своем желании пораньше — я вас, батенька, сюда бы задаром посадил».

...Не все знают грустный конец истории Смольного института благородных девиц. В семнадцатом году Владимир Ильич изъявил желание взять это чудное здание под нужды большевиков, и Смольный переехал в Новочеркасск. Казахский круг (совет самоуправления) содержал Смольный несколько лет. Но однажды в класс пришла инспектриса и сказала: «Дети, казахий круг выбыл из Новочеркаска. Смольный никем не будет больше субсидироваться. Возьмите теплое платье и выйдите ночью через калитку. В городе тревожно». Почему мне это известно? Я встретила со смолянками, которые в течение нескольких дней и ночей, меняя поезда, добирались до Петрограда, сопровождаемые моей бывшей классной дамой бесстрашной фройляйн Козински...

Лет пятнадцать назад я со своей подругой, тоже бывшей смолянкой, была в Ленинграде на экскурсии в Смольном: нам показывали бывший кабинет Ленина. Молодой человек, экскурсовод, рассказывал: «Судя по некоторым данным, раньше, до революции, здесь жила женщина». Ничего себе данные! Откуда, скажите, взялся бы мужчина в Смольном ин-

ституте? В учебном заведении закрытого типа! Я даже знаю, кто именно жил в этих комнатах до Ленина, — сама инспектриса.

Но вернемся в первые после-революционные годы. Вы спросите, почему я не уехала? (В апреле 1918-го все уезжали.) А как жить без рубля? Ведь у меня ничего не было: если кончилось жалование — то денег ждать было неоткуда. Время было голодное. Мы продавали с себя все: шубы, драгоценности уходили за бесценок. Повсюду открывались комиссионные магазины: в них из хороших домов свозились вещи разных столетий. В магазинах была представлена история искусств: прекрасный фарфор, живопись, бронза. Продавались целые гостиные! А мы ели мерзлую картошку и, устроившись конторщицами, кое-как отработывали свои хлебные карточки. Но говорить о еде считалось неприличным. Еды не было — и мы о ней не говорили. Но вот что удивительно: жизнь была очень интересной, очень щедрой на вдохновение. Кино и театр стоили дешево. Инфляция чудовищная, а цены на билеты не поднимались. Существовали поэтические кружки, театральные студии. В 1921 году в Петрограде был очень популярен клуб милиции — там артистам платили

за выступления едой, и на сцене клуба охотно выступали знаменитости. Там я видела мадам Блок. Отвратительная была актриса! Зануда страшная! Читала с завываниями поэму «Двенадцать»... Два пуда муки получал в Кронштадте за свои выступления Шаляпин...

Что еще рассказать? Посадили меня в год убийства Кирова: тогда ссылали целыми семьями... В нашей компании оказался бывший белый офицер, как оказалось впоследствии, — стукач. Один из гостей в тот вечер стал жаловаться на большие налоги и, сильно напившись, произнес: «Я убью этого фининспектора». Мы посмеялись, но через неделю после этого эпизода четыре человека отправились в лагерь. Взяли и того, кто жаловался, и тех, кто слушал, — моего мужа и меня. Как ни странно, много позже видела я этого стукача крупным планом в фильме «Ленин в Октябре», где он играл белого разведчика. Васильев была его фамилия...

Надо мной никакого следствия не было. Двенадцать раз меня вызывали по ночам на допросы. Следователь Бутырки осведомлялся: «Вы не сердитесь, что я вас ночью вызываю? У нас после часа ночи полуторный оклад идет». Впрочем, в камере меня считали

особо опасной «политической» — все же 12 раз на допросы водили... Сейчас образовалась в Москве какая-то группа потомственных дворян. Но я к ним не пойду. Памятуя того офицера, скажу: не знаю, как все они уцелели. После того, что довелось испытать, я ни за кого не поручусь...

Я отсидела свой срок в лагере. Мне повезло: работала в лагерной библиотеке. Может быть, потому и уцелела. До смерти Сталина мне было запрещено пересекать сто первый километр. А потом я получила ордер в коммунальной квартире в Москве. И одновременно со мной в эту квартиру въехал бывший лагерный конвоир. Своей «профессии» он не стыдился и не скрывал, что стрелял по отставшим на принудительных работах зекам. Ходил по Москве в старой казенной шинели, гордился «честью мундира». Ну, а я не скрывала, что сидела по 58-й! Он оскорблял меня, этот мерзавец, называл «буржуазным недобитком», кричал: «Хулиганка, я тебя знаешь куда сошлю!» А я к тому времени уже везде побывала и ничего не боялась. И так это продолжалось тридцать лет, пока я не выхлопотала себе другую комнату в коммуналке в том же доме. Случилось это в позапрошлом году.

